
Ю.И. Айхенвальд ¹

Бальмонт

Творчество Бальмонта в высшей степени неровно. Наряду со стихотворениями, которые пленительны музыкальной гибкостью своих размеров, богатством своей психологической гаммы, от самых нежных оттенков и до страстной энергии, смелостью и свежестью своего идейного содержания, — вы часто находите у него и такие строфы, которые многословны и неприятно шумливы, даже неблагозвучны, которые далеки от поэзии и обнаруживают прорывы и провалы в рассудочную, риторическую прозу. В его книгах вообще очень много лишнего, слишком большое количество слов; необходимо сделать из них отбор, внушить автору правила эстетической экономии; если бы он не был так расточителен и так гостеприимен по отношению к самому себе, это было бы гораздо лучше и для нас, и для него; сокращенный Бальмонт ярче выказал бы свои высокие достоинства.

Шаткость и нецелостность его мастерства объясняется, вероятно, тем, что, в глазах поэта, как он сам говорит в стихотворении «Извив»,

...мысли ход живой,
Как очерк тучки кочевой,
Всегда чуть-чуть неверен.
Когда грамматика пьяна

Без нарушенья меры, —
Душа как вихрем взнесена
В те призрачные сферы,
Где в пляске все размеры...

Вот у Бальмонта пьяна не только грамматика, и потому не выдержан строй его капризной лиры: автор пьян словами, охмелел от их звуковой красоты. Он упоенно заслушивается их, он их сплетает в свои любимые «напевности», нанизывает ожерелье красивых или искусственных аллитераций, звенит ими, играет — то флейта слышится, то будто фортепьяно... Льются водопады и каскады, буйно и гремуче низвергаются с высоты или переходят в «ручеек, ручеек» и медленными строками замирают в каком-нибудь тихом внутреннем Амстердаме, в элегическом покое затона, и слышишь тогда, как «незримо порывается струна от неба до земли». Или в тоске степей половецких

Звук зурны звенит, звенит, звенит, звенит,
Звон стеблей, ковыль поет, поет, поет,
Серп времен горит, сквозь сон горит, горит,
Слезный стон растет, растет, растет, растет.

Но так как поэзия — нечто другое, чем бальмонтовские литавры, флейты и скрипки, так как слова — не только звуки, то, нашим писателем нередко пренебрегаемые в своей логической природе, в своем идейном естестве, они и мстят за это, создавая что-то невразумительное и необязательное, какое-то случайное сцепление мыслей. Для Бальмонта как будто не важно, ему все равно, что означает слово, какое понятие облекает оно своею фонетической, своей воздушной одеждой. Поэт воздуха, небрежный к смыслу, он беспечно предоставляет содержанию выявлять себя самому, без его писательской помощи, просто из комбинации звуков, которые дадут же, образуют в своем узоре какую-нибудь тему, — не все ли равно какую? Зачарованный словами, загнипнотизированный их певучей властью, он пускает поводья и отдается на волю ветра,

¹ Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928) — русский литературный критик, переводчик. Широкая известность пришла к Айхенвальду после выхода книг *Силуэты русских писателей* (1906–1910) и *Этюды о западных писателях* (1910), в которых он создал выразительные литературные портреты, а также интерпретировал творчество известных русских и западных авторов.

с которым недаром так часто и восхищенно сравнивает самого себя. «Вольный ветер», он не задумывается над изречением Баратынского, что «бродячий ветер» именно «неволен» и что «закон его летучему дыханью положен». Беззаконный, больше в музыке, чем в мысли, рассеивая себя в воздушных струях ветра, Бальмонт как раз оттого превращает свои стихотворения в набор слов. И это определение надо принять не только в его дурном, в его отрицательном смысле, но и в положительном. Ибо набранные слова могут случайно прийти в прекрасные и глубокие сочетания — разве, выражаясь языком самого автора, чужды красоте «жемчуга, сорвавшиеся с нитей»? Разве, как набирают литеры, нельзя набирать и слов? в общей соединенности, в республике мира все связано друг с другом, и слова образуют именно нервную систему этого мира; их тонкие сплетения всегда будут иметь какой-нибудь смысл, какой-нибудь намек на смысл; поэтому в присоединении одного слова к другому и не надо соблюдать особенной логической щепетильности — достаточно положиться на свой инстинкт поэта и довериться мудрости самого звука. Вот почему, писатель-наборщик, нанизыватель, Бальмонт каждое свое слово не мог бы оправдать. Ему их не трудно произносить, он не взвешивает их, он за них не берет на себя ответственности. Он любит свои слова, но не уважает их. Есть у него праздность речи, и он нередко терпит неудачу в своем неосторожном обращении со словом и смыслом. Из-за опьяненности звуком становится даже сомнительной искренность исповеди, подлинность изъятий. Бальмонту не всегда веришь, и, кажется, он этим не огорчен. А если обнаружится в его стихах что-либо непонятное, то он сошлется на то, что «мысли ход живой, как очерк тучки кочевой, всегда чуть-чуть неверен»... И потому течение своих идей он смело подчиняет внушению звуков; если он скажет «водительство», то непременно уже само собою подвернется под его перо «родительство», и если влюбленная обнявшаяся чета — это «две красы», то она же сейчас и — «две осы», и если — «великое», то рядом — «безликое»; даже на потребу и такое созвучие, как «поелику в лике»... Иной раз то, что он делает ради рифмы и напева, предательски опутывает его, но иной раз и помогает ему способствует смыслу; счастливо и дружно слетаются, сплетаются слова, и в контексте стихотворения столь же красиво, сколько и умно звучит, что «травы — удавы»; или что утомленный, скептический, неуместный шафер, держащий венец над невестой молодой, у плеча новобрачной, «над фатой ее прозрачной», склоняется «мечтою мрачной, неуместной, неудачной»; или что в «Вороне» Эдгара По «завес пурпурных трепет издавал как будто лепет, трепет, лепет, наполнявший темным чувством сердце мне», и на бледном бюсте Паллады сидел, сидел «зловещий, Ворон черный, Ворон вещий».

В общем, Бальмонт не подвергает себя никакой самодисциплине. Не Автомедон своей колесницы, он, к сожалению, правду говорит, когда в «Фейных сказках», сообщает нам, как он пишет стихи:

Но я не размышляю над стихом.

Напрасно. Размышлением нельзя создавать стихов, но можно и должно их проверять. Отказавшись от этого, неразмышляющий поэт и обнаружил в себе роковое отсутствие художественной скупости, художественной строгости. Не сдержанный, совсем не классик, он распустил свои слова и часто выбирает и особенно соединяет их между собою — без внутренней необходимости. Его слова и их сочетания заменимы, и пристального взгляда, требовательной критики они порою не выдерживают. И дурно уже то, что их приходится объяснять и защищать, что они не говорят сами за себя.

Эта расплывчатость и принципиальная неоправданность многих произведений Бальмонта находится еще в связи с тем, что он дает пышные обещания, но исполняет меньше, чем сулит. Свой собственный герольд, он как бы предшествует самому себе и очень громко трубит в звучные фанфары своих предисловий и слов, сам характеризует себя, там и здесь возвещает свое художественное *credo*. Но так оно обще, что становится бессодержательным, и его поэтические формулы, слишком широкие, ни к чему не обязывают.

Он вообще любит широкий размах, великолепие, роскошь, или щегольство, так что все это даже утомляет и почти граничит с дурным тоном. Поэт злоупотребляет драгоценными камнями, всяческой яркостью; между тем он мог бы обойтись и без нее — безвкусно Рейнский водопад освещать бенгальскими огнями. Драгоценности, обилие красочных пятен вторгаются у него и в такие картины, которые должны бы чаровать именно своей незатейливостью и простотой:

Прекрасней Египта наш Север.
Колодец. Ведерко звенит.
Качается сладостный клевер.
Горит в высоте хризолит

А яркий рубин сарафана
Призывнее всех пирамид.
А речка под кровлей тумана...
О, сердце! Как сердце болит!

Разве душе этого стихотворения и сердцу, болящему сердцу поэта подобают, разве им к лицу хризолиты и рубины? Едва ли. Но Бальмонт не может от них отрешиться, потому что он уже так воспитал себя, он приучил свои глаза и уста к богатству окрасок и выражений. Почти всегда он повышает голос и в этом голосе нарочно усиливает дерзновение и отвагу. Ему сладостно произносить «кинжальные слова», бреттерствовать в литературе, посылать вызовы, хотя бы никто его и не трогал; он отчеканивает, командует в стихах, одно слово от другого, одну пару слов от другой отделяет энергичными точками; он шумит, он почти кричит, он волнуется и отрывисто восклицает. Бальмонт не то что лиричен — он нескромен и много толкует о себе. Поэт внешне увеличивающий, почитатель большой буквы, он вдохновляет себя географической и иной экзотикой, и надо считать тяжким грехом с его стороны обычные его провозглашения: «я ненавижу человечество, я от него бегу спеша» (и все-таки поспешность не удержала его от плеоназма...); «я не был никогда такой, как все»; «это — страшное проклятие, это — ужас: быть как все»; он никак не может понять, что в этом сходстве со всеми нет ничего ужасного, он не способен принять простоты, возвыситься до нее, не может подняться до обыкновенного. Фамильярный с солнцем, луной и стихиями, свой среди них и «среди стихийного бесничества», испытывающий на себе тяготение высоты и красоты, он зато недостаточно глубоко и любовно проникает в обыденность и не освящает ее, как это приличествовало бы поэту. Испанец, идальго, кабальеро, любитель алости и пряности, певец махровых цветов, гвоздики и мака, он не только обладает темпераментом, но, к несчастью, и говорит о нем. На разные лады повторяет он свое знаменитое «хочу быть дерзким, хочу быть смелым», и эти заявления, а не проявления своеволия изобличают в нем отсутствие настоящей смелости и настоящей дерзости. Он больше хочет быть смелым, чем смел действительно. Он прославляет альбатросов, морских и других разбойников — ему самому было бы лестно слыть разбойником русской поэзии, но чувствуется, что он не так страшен, как себя рисует. Атаман теоретический, бандит стихотворений, Бальмонт не имеет спокойной и уверенной силы; он храбрится, грозит, что будет палачом, но скорее он — кроткий и с ужасом думает об опричниках, сокрушается о том, что, «едва в лесу он сделал шаг, — раздавлен муравей»; его тешат фейные сказки и разные птички, и снежинка белая, и лен, и василек во ржи, и голубое, и милая миниатюрность. Правда, все это малое и милое именно тешит его, а не то чтобы он это любил простодушно. Он всему этому точно честь делает. Он от простодушия как-то отучил себя, довольно удачно привил себе всякую необычайность, намеренно ушел из-под того северного неба, под которым пел когда-то более простые и более русские песни. Теперь уже искренни его утверждения, что он любит в мире «скрип всемирных осей»; ему действительно полюбились уроды, горбуны, «кривые кактусы, побеги белены», все пасынки, все падчерицы мачехи-природы, все то, что иррационально и безумно, все, что рождается в диком оргийном чаду, и ужасы, и вампиры, и ломаные линии, и суеверие

амулетов, химеры на соборе Парижской богородицы и химеры живой реальности; неложные хвалы воздает он тиграм, леопардам и таинственному роду кошек. У него — пламенная чувственность, все порывы сладострастия, «жаждущая хоть»; отуманенный эротикой, он видел, как «томились пьяные в тумане анемоны» и «рододендроны, как сонмы юбок фейных, призывно зыблились, горячий рот маня», — и часто для него «рты гранатно приоткрыты». Горячее, огневое вдохновляет его; по его космогонии, «родился мир из гнева», и если он слагает гимны огню, который нравится ему больше всего на свете, то в этом огнепоклонничестве нет лицемерия; и если он хочет быть как солнце, то в самом деле идет ему навстречу всеми трепетами своего существа. Есть у Бальмонта и огонь обличительный, пожар совести, огонь как упрек. В глубоко вдохновенной автобиографии, в поэтической исповеди «Лесного пожара», местами достигающего дантовской жути и пафоса, — как лесной пожар, как «завеса непроницаемо запутанного леса» рисуется именно жизнь сгорающая; и поэт оборачивается на свое прошлое, его мучат терзания совести, «просроченные сроки» — вся эта боль жизненных опозданий, роковая несвоевременность нашего раскаяния, непоправимость душевных ошибок; и по мере того как в чащу леса уносит всадника взмыленной конь — то, что когда-то светило «пламенем воздушно-голубым», теперь «превращается внезапно в черный дым».

О, сказкой ставшая, поблекнувшая быль!
О, крылья бабочки, с которых стерлась пыль!..

Такие лирические откровения, впрочем редкие у Бальмонта и чаще вытесняемые искусственностью красивых самовнушений и самообманов, тоже показывают, что изысканность не является для него прирожденной и что если он долго искал себя в разных далях, то найти себя может только на родине, там, где он увидел, что «есть в русской природе усталая нежность, безмолвная боль затаенной печали». Но и скитания его, внешние и внутренние, в общем строе его духа были если не всегда естественны и необходимы, то все-таки законны, потому что завершающая оседлость должна преодолевать инстинкты скитальчества. Недаром его поэзии так присуща идея извивов и изменчивости. Многоликое, подвижное, текучее; гераклитовское «все течет»; странничество облаков, которые, быть может, только где-нибудь «в окрестностях Одессы», над «пустыней выжженных песков» проходят «скучною толпою», скучающие, слоняющиеся бродяги вселенной, а вообще носятся по миру, неутомимые, неутолимые в своем любопытстве: все это родственно пленяет Бальмонта переливами изменений, и для него не одни «слова — хамелеоны», но и вся жизнь хороша только в радужной пляске солнечных пылинок, в игре разнообразных мгновений, в вечной смене внутренних и внешних эфемер.

Однако его легкости и ветреной подвижности мешает нередко и то, что он их слишком сознает, что он вообще не чужд интеллектуализму и не размышляет только над стихом; как бремя падает на его поэзию элемент философического рассуждения или рассудочности. Ветер Бальмонта в своих эфирных складках прячет какую-то тяжесть. Отсюда — нескладное соединение образности и отвлеченности, все эти бесчисленные слова на «ость» — всякие «пирности, тайности, жемчужности, пятикратности, взрывности, звездности» и даже — «звездомлечности»... Отсюда — пятна прозы: например, частое слово раз в смысле если, коль скоро, или «замкнуться, как в тюрьму, в одну идею», или «оделись формой иною», или «краткое мгновение может дать нам... целый небосклон», или «он уснул между гор величавых, поражающих правильной формой своей». Отсюда, как в стихотворении «Ребенок», проникновенные и сердечные строки, простой вопль отцовской жалобы и недоумения:

Но я не в силах видеть муки
Ребенка с гаснущим лицом,
Глядеть, как он сжимает руки
Пред наступающим концом...

.....

Глядеть, как бьется без исхода
В нем безглагольная борьба!
Нет, лучше, если б вся природа
Замкнулась в черные гроба.
.....
Нет, пытки моего ребенка
Я не хочу, я не хочу, —

эти волнующие стихи сменяются многословной и бледной тирадой будто бы небесного, вышнего ответа на человеческую скорбь — и здесь уже огорчает нас вялость скудного домысла, и риторика, и такая проза, как «последнего атома круга еще не хватало»... Бальмонт часто также сушит свои стихи кавычками и из двух слов затейливо сложенными словами, и такими оборотами речи, такими приемами, которые кое-как сводят логические концы с концами, удовлетворяют грамматике, даже рифме — но только не поэзии. Он не чувствует, например, что сказать, тяжело сказать о лилиях: «проникаясь решимостью твердою», — это значит погубить всю поэтичность и всю легкость лилии. Вообще, разве облачко рассуждает, разве соловей поет абстракции, разве Бальмонту пристала книжность?

Итак, у него нет достаточной силы для того, чтобы в любимый звук свой соответственно претворить мысль, — у него звучат не мысли, а слова или, наоборот, слышатся соображения, но тогда не звучат слова. В его поэзии нет целостного и внутренне законченного содержания, высшей органичности. Вторична, производна его изощренность, но и простота его не первоначальна; ни здесь, ни там он не естественен всецело. Лишь иногда рассыпанная храмина его избыточных слов идеально восстанавливается, и видно тогда мерцание некоторой истины. Мудро и спокойно выявить скрывающуюся где-то в последних глубинах неразделенность мысли и звука, их космическое единство; так же выявить конечное единство родного и чужого, обыкновенного и изысканного, природы и культуры — этого он не сумел. Но и то, что он умеет, — большая радость для русских читателей. Бальмонт себя переоценивает, но ценностями он действительно обладает. Музыка нашей поэзии в ноты свои любовно занесет его звучное имя. Сокровищница наших сюжетов все-таки примет яркие причуды его настроений, переливы от простого к утонченному, его родину и экзотику, его искусство и даже искусственность. И часто и сладко будут заслушиваться этой певчей птицы. Ибо несомненно, что хотя он себя возбуждает, преувеличивает, извращает и точно вводит в свою душу какие-то наркозы, искусственный рай Бодлера, но и без того живет в нем душа живая, душа талантливая, и, опьяненный словами, восхищенный звуками, он их страстно роняет со своих певучих уст. Он к себе не строг, и тот ветер, которому он уподобляет свою поэзию, бесследно унесет многое и многое из его неудачных песен и незрелых дум; но именно потому, что этот ветер развеет его плевелы, навсегда останется от Бальмонта тем больше красоты.